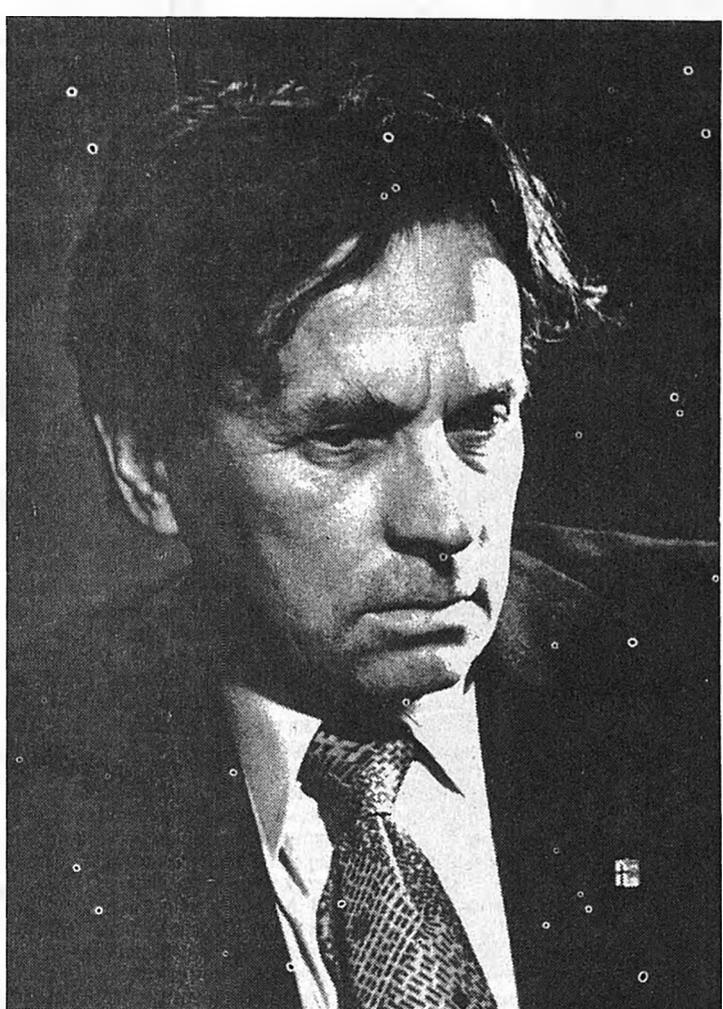


В ПРИВЫЧНОМ взгляде на этого писателя есть что-то непоправимо неточное. И читают, и почитают его прежде всего как «зачинателя». Был Валентин Овечкин с деревенской темой, были другие очеркисты. А потом Федор Абрамов «о том же» написал роман. И забывают, что шагнуть от публицистики к художественной прозе не так просто.

Публицистика — «обреченный» род литературы. Современность давит его. Пройдет год, два, десятилетие. И написанное ранее утрачивает читателя. Другие беды — другие темы.

Мало кому из публицистов удастся остаться «вечно современным». А остаться «внутри жанра» еще и художником!.. Тут — лишь избранные: Достоевский, Герцен, Леонтьев, Розанов, Блок... Кого ни вспомнишь — или жил в прошлом веке, или хотя бы успел родиться в веке девятнадцатом.

Очерк Овечкина и «рядом стоящих» находился между прозой и журналистикой: то попытка стихотворения в прозе (здесь можно уловить и ростки «лирической прозы» 50–60-х), то ломовая «отчетность», протоколы, туповатый канцелярит. Чтобы заострить проблемы, они вынуждены были говорить не только своим языком, но и языком газеты. И нашумевшая статья Абрамова о «Людах колхозной деревни в послевоенной прозе» — отсюда же. Это лишь наполовину «литературная критика», «разное» литературных генералов. Лишь «видимый



Федор Абрамов.
Фото Николая Кочнева

ИЗ «ОБРЕЧЕННОГО» РОДА

К 80-летию со дня рождения Федора Абрамова

частью» она — о Бабаевском, Медынском, Галине Николаевой и других. А в основе ее — та же публицистика, борьба за «правду факта»: «Для достижения победы потребовалось предельное напряжение всех сил наших людей. Из колхозов ушли на войну почти все мужчины. Оставшимся женщинам, подросткам и старикам пришлось выполнять ту работу, которая раньше выполнялась всем населением деревни...»

Как часто и романы того времени писались столь же «общим» языком. Но в это же время Абрамов писал и первый роман — «Братья и сестры». И, открывая его, слышишь совсем иную речь.

«Зимой, засыпанные снегом и окруженные со всех сторон лесом, пижонские деревни мало чем отличаются друг от друга. Но по весне, когда гремячи ручьями слышны снега, каждая деревня выглядит по-своему. Одна, как птичье гнездо, летит на крутой горе, или щелью, по-местному; другая вылезла на самый бережок Пинеги — хоть из окошка закидывай лесу; третья, кругом в травяных волнах, все лето слушает даровую музыку луговых кузнечиков...»

Ритм фразы, «строение» прозаической ткани, приемы заставляя вспомнить «Тихий Дон» и «Поднятую целину» (в прозу Шолохова Абрамов вжилась, когда писал о нем диссертацию). Но дыхание севера, белые ночи, вообще «пейзаж», характеры, говорок — все абрамовское. Здесь не просто «литература о деревне» ушла от газетного пафоса, зазвучала на ином языке. Здесь слышишь живые голоса людей русского Севера, голоса рек, лесов, уговоров. Здесь через Федора Абрамова заговорила сама «деревянная Русь».

Но выход в живое слово — еще полдела. Четыре романа о Пекашине — вещь художественная и с такой «правдой факта», что по этим произведениям историк может узнать о жизни послевоенной деревни больше, чем из множества монографий. И все же — спустя десятилетия — главное чувство, которое испытываешь к писателю, перечитывая эти страницы, — учтливое уважение. Его тетралогии очень любили читатели-крестьяне, особенно старшего поколения («писано прям про нас»). Но прийти к читателям следующего тысячелетия... В отдельных эпизодах вспыхивает что-то большее, нежели «романное слово». Но в целом — слышном заметна «писательская добросовестность».

Многогеройность тетралогии Абрамова — это традиция, но не свойство его таланта. Его дар «вглядывания» требовал ограничения. И не зря он сетовал на критику: говорят все о романах и словно не замечают малых вещей.

Объем произведения становится осязаем не в то мгновение, когда ставится последняя точка. Он — поначалу лишь предполагаемый — впитывается уже первой фразой. Читая рассказы Абрамова (кроме некоторых, где «предчувствуется» другой жанр), видишь: не дал идея «задышать», рассказал балстес, чем набрал воздуха в легкие, потому и язык часто бывает какой-то «деловой». В романах — пишет живыми словами, но не всегда своим дыханием. Здесь работает и опыт университетского преподавателя, «перелопачившего» столько книг. Повесть — вот где Абрамов становится сам собой и дышит ровным с каждой фразой. Сейчас, прожив не один десяток лет, его повести словно «омылись временем», посвежели, просветлели.

К ним он подходил и через сказку («Жила-была семужка»), и через очерк («Вокруг да около»). И вышло у него мастерство не сразу. Лучшие страницы «Безотцовщины» — звонкие, ясные — косьба и солнце.

Но сказать-то хотел о горьком, о «рассыпающейся» деревне.

Три главные вещи — «Деревянные кони», «Пелагея», «Алька» — были написаны о женщинах. Абрамов, художник хмурый и мужественный, женские образы вырисовывал с особым бережением. Даже беспутная Алька, словно воплотившая в себе «конец русской деревни», ее распад и увядание, описывается с такой затаненной любовью, с какой, наверное, не вывел он и любимейшего своего романного героя Михаила Пряслина.

Написаны три эти повести в пятилетие — с 1967 по 1971 год. И, следуя от одной повести к другой, можно вычитать многое. Например, портрет русских женщин разных поколений: тихая, ясная, доживающая свой век Мелентьевна; крепкая, работающая и только через беды сошедшая в могилу Пелагея; молодая, задорная, обольстительная Алька. Или — можно сквозь эти образы прочитать историю русской деревни, сумевшую пройти через многие беды с тихой твердостью, с верностью устоям старшего поколения, зашатавшуюся от «ухватистой силы» среднего, брошенную на произвол судьбы охочим до жизненного разнообразия младшим.

Но за всеми прочтениями сквозит еще один — смутно чувствительный и вместе с тем по-крестьянски непреложный.

Мысленно перебираешь судьбы... Мелентьевна старается не дать в обиду даже тех, от кого натерпелась, кто давно ушел из жизни: слова дурного не скажи — не нам судить. Пелагея, праведница в работе, уже и «суждение имеет», и соображает, выгодно или невыгодно повести себя так или иначе. Алька почти и не думает, ее просто «носит по свету». И как странно, что и в «Пелагее», и в «Альке» Абрамов умеет видеть мир глазами своих героинь, а в повести «Деревянные кони» его старая Мелентьевна больше молчит да грибы носит. Вся судьба — и как ревнивый муж чуть ее, совсем девчонку, не убил, и как работать пришлось, и как раскулачивали, и как дети гибли — рассказана невесткой. От старухи же просто «исходит свет». Писатель мог только наблюдать, только поклониться.

И вдруг озаряет чувство, которое не так просто выразить словами, но за которым — давняя крестьянская правда.

Человек живет, переживая радости, беды, и за всем этим — год от году — все отчетливее выступает его судьба («суди Бог!»), в которой-то и находится ответ на вечный вопрос: ради чего живет человек? Судьба — это твое слово в мире. И если много бед пережить пришлось, но судьба твоя — «ладная», значит, не зря жил на свете, значит, и оставил память по себе — не только в людских головах, но в самом мире: в доме, где жил, в лесу, где ходил с коробом, на лугу, где сено косил... Мир «пронизывается» твоей душой.

Именно ладом и судьбами выставляла деревня в лихие времена. Как только ладного убавилось, — поползло, поехал. А потом — словно смерч прошел: полетели из деревни «судьбы искать», не желая принять ту судьбу, что «на роду написана».

Распадалась деревня с утратой памяти. Сначала забылось, для чего ты в мир пришел (и Пелагея угробит жизнь свою на «тряпки»), потом — знакомые дороги видятся вуже («Я ведь все перепутала... Это ведь Екимова ворка, кабыть... Але Максимова?»). Наконец — выветриваются сами имена.

Герой из «Мамоники» навешает родные зыбку, бридиг, вспоминает и «Мамину зыбку», и «Антохину раскопку», и «Вырвей». И вдруг поражается красоте знакомых с

детства названий: как в сказке! А вымрет деревня — что останется? И баба Соха — последний деревенский житель — вторит ему: «...в нашей деревне какие теперь сказки? Деревни, парень, без сказок помирают. Это сказки-то сказывают да песни поют, когда строятся, когда жизнь заводят заново».

Эхом отзываются записи Абрамова в записной книжке:

«Сказка была разлита по всей жизни. Домом ее была вся земля... В сказке всегда твоя опора на прошлое, на твоих отцов. Люди умирают, а душа-то их, заключенная в этих сказках, переходит в тебя... Нет, не зря сказано было древними: вначале было слово...»

Но мысли сходят с утоптанной дорожки и вдруг упираются в тупик: «Будущее беспощадно».

В 1974 году он напишет коротенькую, похожую на кошмар, повесть — «Поездка в прошлое», где человек в одну ночь вдруг заново узнает все пережитое: что любимые дядя-революционеры своим фанатизмом не подымали, а губили народ, что отец, от которого он отрекся, был вовсе не «слабак», а человек честный и мужественный, что все было не так, как думалось, и будто всю жизнь его бес за нос водил, а теперь, пьяный, он бродит у какой-то топи, и дороги ему больше не сыскать...

Повесть появилась в печати уже после смерти автора, в «перестроечные годы». О чем хотел поведать Абрамов? Только об ином взгляде на прошлое? Или о том, что все мы заблудились, что нужно искать тропку, чтобы выбраться (как часто в его прозе человек — пусть ненадолго, на минуты — может вдруг заблудиться в родном лесу)...

В «Мамонике» появится странный человек, Роман Васильевич, который хочет для будущего истории родной деревни сохранить. Ставит столб: «На этот вот столб хочу щит, обтянутый алюминием, набить, а на щите коротко все данные о Ржанове: когда, кем основано, сколько жителей было, кто на войне голову сложил...»

Главный герой взволнован, поражен: «А вы думаете — Ржаново возродится?» — «Возродится. Обязательно возродится. А как же? К двухтысячному году, ученые подсчитали, население планеты удвоится, в два раза вырастет, а тут что же, кустарник выращивать будут?»

Жуткое эхо этих слов теперь долетело до 2000 года. Население планеты «удвоилось». Без тех, кто в Ржанове жил и мсты ставил.

При жизни писателя готовы были упрекнуть за этот эпизод, за излишний его оптимизм. Но не для «оптимизма» Абрамов ввел этот образ. Грела его тайная надежда: сохранить прошлое. Вернуть «Мамину зыбку», «Антохину раскопку».

Для последнего романа («Чистая книга») — ушел в архивы Архангельска, словно нашел ту почву, которую теперь возделывать надо. Последние вехи, которые успел оставить, легли в записную книжку и в письма.

О Пушкине: «Парадокс: человек умирает, а гений его продолжает расти, углубляется, набирать силу... Пушкин завещал нашим поэтам быть государственниками... Пушкин — отец наших душ».

Описательство: «Научиться отдавать — это самая большая радость».

О самом себе: «Все образуется, все будет хорошо! Ну а ежели выпадет решка, что ж, — пожил. Мои дорогие ребята, мои товарищи, с которыми я вступал в жизнь, с 41-го года лежат под Ленинградом, а я разве лучше их?»

Спасение он видел в памяти. Не в памяти отдельного человека — во всенародной памяти. Сюда — а во все не к адресату письма — и обращен последний вопрос.